

Дэнни Постел

ДВИЖУЩИЕСЯ ЦЕЛИ:

ИНТЕРВЬЮ С ЦВЕТАНОМ ТОДОРОВЫМ¹

Дэнни Постел: среди мыслителей XX века наибольшее восхищение у Вас вызывает Раймон Арон. Одной из отличительных черт Арона была его склонность к участию в интеллектуальных баталиях и политических дебатах. Вспомним, к примеру, «Опиум интеллектуалов», его решительную атаку на заигрывание французских интеллектуалов с компартией. Но это невероятно далеко от Вас по стилю. Вы не только никогда не писали книги, вроде «Опиума интеллектуалов», Вы даже редко упоминаете тех из Ваших современников, чьи философские или политические взгляды отличаются от Ваших. Вы не вступаете в прямую полемику, скажем, с Бадью, Балибаром, Рансьером или Бодрийяром. Почему? Почему, будучи горячим сторонником либеральной демократии, Вы не выступили с критикой, к примеру, антилиберализма в сегодняшней французской мысли? Почему, будучи критическим гуманистом, Вы не опубликовали статьи, скажем, об антигуманизме в современной европейской теории? Я не говорю, что Вы должны сделать это. Я просто удивляюсь, почему, учитывая Ваше увлечение Ароном, Вы не участвуете в подобных интеллектуально-политических спорах. Дело только в темпераменте, или это Ваша принципиальная позиция?

Цветан Тодоров: Поднятый Вами вопрос об отсутствии полемического накала в моей интеллектуальной работе, заставляет меня задуматься о двух вещах, которые вполне могут быть связаны между собой: я могу задаться вопросом о том, чем можно оправдать такое решение, или о причинах, которые могли привести меня к нему, иногда неосознанно.

Что касается первого затронутого Вами аспекта, то мне кажется, что моя позиция определяется выбором приоритетов и экономией средств. В своих книгах я вступаю в полемику со своими противниками, но это идейные движения и типы поведения, а не отдельные люди. В «Завоевании Америки» и «О человеческом разнообразии» я анализирую расизм, этноцентризм, ксенофобию, национализм и некоторые другие перекосы в наших отношениях с «другими» и в то же время борюсь с ними. В «Столкновении с экстремаль-

¹ Tzvetan Todorov, «Moving Targets: An Interview by Danny Postel», *Critical Inquiry*, 2008, vol. 34, no. 2, p. 249–273.

ным» и в «Надежде и памяти» то же самое проделывается с тоталитарной идеологией. В сравнении с этими фундаментальными дебатами, вступление в склоку с моими современниками кажется мне довольно тривиальным делом. Я не пытаюсь систематически пренебрегать мнениями, высказываемыми другими, но я предпочитаю обобщать их, потому что я полагаю, что другие люди также могут разделить их. Важно противостоять аргументу, а не личности. Рассмотрение различных интерпретаций зачастую служило источником вдохновения в моей работе, но мне кажется, что, в конечном счете, общие вещи важнее особенных, так как последние по определению бесконечны.

Я также полагаю, что наиболее интересная работа, которую ты можешь создать, — это работа, которая кажется тебе наиболее сложной. Простота выполнения всегда казалась мне признаком поверхностности; напротив, преодоление новых трудностей оказывает на меня стимулирующее воздействие. Этим и объясняется мое нежелание заниматься долгое время одним и тем же предметом и стремление после нескольких лет работы в одной области заняться чем-то новым. Иногда я и сам поражаюсь разнообразию дисциплин, которыми я занимался: поэтика и риторика, семиотика и герменевтика, история литературы и живописи, история идей и учений, моральная и политическая философия... Создание нового кажется мне куда более сложным делом, нежели критика противника. Это особенно относится к письменным перепалкам (даже хотя это единственная форма, в которой аргументация может преобладать над ораторскими эффектами), когда объект твоей критики не может тебе возразить, и ты можешь вволю посмеяться над человеком. Утверждать свое видение мира, не слишком беспокоясь насчет того, как видят его другие, на мой взгляд, гораздо сложнее и интереснее.

Прибавьте к этому мое убеждение, что полное несогласие с другим человеком никак нельзя назвать наиболее плодотворным интеллектуальным взаимодействием. Диалог, если воспользоваться этим избитым словом, находится где-то между войной и совершенной гармонией; если разные голоса сливаются в один, или если они бьются друг с другом не на жизнь, а на смерть, их многообразие не приносит никакой пользы. Больше всего мне дали те авторы, с которыми я мог спокойно двигаться вместе какое-то время прежде, чем они заводили меня в неизвестном направлении. Когда вы на три четверти сходитесь, а на четверть расходитесь, это служит отправной точкой для более острых, более тонких размышлений. И когда у вас много общего, пропадает всякое желание вступать в прямое противостояние.

И последнее замечание: со временем я пришел к выводу, что непросто отделять людей от их идей. Я не имею в виду ситуацию, когда, как нередко бывало раньше в литературной истории, предпринимались попытки объяснить произведение личностью автора; но мне кажется, что биография автора — это не менее красноречивое выражение его мыслей, чем его произведения. Поэтому, когда я писал о мыслителях и авторах, я пытался оставить пространство для их личной жизни и их идей. Я использовал этот подход в своей книге о Бенжамене Констане («Бенжамен Констан: страсть к демократии»), а также в более кратких портретах Раймона Арона и Эдварда Саида и — позднее — Уайл-

да, Рильке и Цветаевой, героев одной из моих последних книг. И если можно выступать против идей автора в полемическом ключе, в этом нет никакого смысла, когда имеешь дело с самой жизнью. Как можно «возражать» жизни?

Могу добавить, что сегодня я не ставлю перед собой цель создания текста, который можно свести к основным идеям; я пытаюсь обогатить его историями (других людей или своими собственными), а, как мы знаем, истории ведут к появлению интерпретаций, а не опровержений. Книги, вроде «Французской трагедии», «Хрупкости добродетели» или моей интеллектуальной биографии *Devoirs et délices: Une Vie de passeur* принадлежат к жанру, который не содержит в себе полемического зерна; они не могут быть сведены к идеям, которые можно представить на обсуждение.

Так что, как видите, я могу найти немало доводов, оправдывающих мое решение не участвовать в полемике с современниками. Но я не уверен, что их достаточно для объяснения экзистенциального выбора. Мне кажется, что подобные решения вызваны событиями, произошедшими в прошлом, особенно в детстве и юности. Мне лишь так кажется; я не уверен в этом на все сто. Очевидно, что двадцать лет с 1944 по 1963 год, прожитых мной при коммунистическом режиме в Болгарии, сыграли определяющую роль в моей биографии. Сегодня я полагаю, например, что мой первоначальный интерес к вопросам формы и структуры в литературе, который побудил меня перевести русских формалистов на французский (в 1965 году), а затем написать такие книги, как «Введение в фантастическую литературу» или «Теория прозы», был тесно связан с невозможностью обсуждения идей в тоталитарной стране. Всякий, кто хотел сказать что-то о литературе, должен был выбирать между обслуживанием официальной пропаганды и разбором формальных аспектов самих текстов.

Вполне возможно, хотя я в этом не до конца уверен, что мое избегание полемики, мой отказ участвовать в прямых спорах также могут быть связаны с этим тоталитарным прошлым. Режим научил нас, что всякий, кто пытался оспорить официальную позицию, мог лишиться своего положения в обществе, работы, права жить в определенном городе или заниматься исследованиями в определенном университете, а иногда даже своей свободы, если не жизни. Последствия высказывания «крамольной» мысли были настолько серьезными, что подавляющее большинство полагало, что лучше даже не пытаться этого делать. Грубо говоря, мы боялись говорить то, что мы думали, и это воспитывало привычку к приспособлению, уступкам и компромиссу, а не дух соперничества и спора. Как знать, может, в этом и состоит одна из причин моего нежелания участвовать в словесных перепалках, в которых многие интеллектуалы, особенно французские интеллектуалы, столь искусны.

На этот вопрос можно ответить двояко, и оба ответа не являются взаимоисключающими. Осознанные решения могут иметь бессознательные источники; но это не значит, что они могут быть сведены к ним.

ДП: Прежде всего, мне бы хотелось узнать Ваше мнение о ноябрьских волнениях во Франции. Обычно выдвигаются следующие объяснения произо-

шедшего: ключевым фактором служит ислам; расизм; классовое угнетение; этнорелигиозная борьба; столкновение цивилизаций; возвращение колониального вытесненного; проявление глобальной культуры низших классов — вот лишь некоторые. Большую шумиху вызвало заявление Алана Финкелькраута, что проблема была в республиканизме и его недостатках. Какой была Ваша собственная реакция на волнения? Как Вы понимаете этот феномен и его последствия?

ЦТ: С самого начала нужно сказать, что у меня нет никаких сведений о событиях, полученных из первых рук. Проявления насилия не добрались до центра города, и они не проникли в Париж, центр обширного региона. Насилие было географически ограничено районами *banlieues*. Все, что я знаю, я знаю благодаря телевидению и газетам. Мои взгляды сформировались под влиянием посредников, журналистов, социальных работников, местных учителей, юристов и полиции. Таким образом, я знаком из первых рук с дискурсами о насилии в ноябре, а не с самим насилием. Это задает границы моих комментариев.

Из этих дискурсов я бы выделил два крайних представления, две пограничные интерпретации, которые кажутся тем более достоверными, чем сильнее мы отдаляемся от действительной сцены насилия. И хотя они не соответствуют наблюдаемым фактам, они прекрасно отвечают ожиданиям людей, к которым они обращаются. Одно из этих объяснений, которое я впервые услышал во время посещения Колумбийского университета в Нью-Йорке в декабре 2005 года, состояло в том, что это было легитимное восстание людей, угнетавшихся и преследовавшихся колониалистским, расистским государством, которое является исламофобским до мозга костей. Другое, которое я также видел в американской прессе, рассматривало события как нападение на Францию и ее ценности, антиреспубликанский погром, рассматриваемый в контексте угрозы террористического ислама Западу. Во Франции также есть люди, подписывающиеся под этими объяснениями, и это в основном те, кто никогда не имел дела с данными *banlieues*. И хотя из этих двух точек зрения делаются противоположные выводы, их объединяет представление, что мы имеем дело с политическим конфликтом, который в своей основе является этническим и религиозным. На мой взгляд, оба этих объяснения больше говорят нам о фантазиях их авторов и об их сознательных и бессознательных страхах и надеждах, чем о реальных фактах.

Но какой же тогда была реальность? Начнем с нескольких бесспорных фактов. В январе 2006 года *procureur general* [генеральный прокурор] Парижа объявил, что 63% арестованных за насильственные действия были несовершеннолетними, 87% имели французское гражданство, 50% не имели до этого никаких неприятностей с полицией и 50% не учились в школе. По поводу их мотивации он сказал, что в ней «не было никаких следов притязаний на идентичность и никаких признаков разжигания политической или религиозной ненависти». На самом деле во время этих событий представители ислама призывали молодежь пойти домой. Даже Жан-Мари Ле Пен, глава крайне правого Национального фронта, всегда готовый к разжи-

ганию культурного или расового конфликта, вынужден был признать это; он заявил, что он «совершенно не согласен» с теми, кто видел «религиозные и этнические» причины насилия, которое он описал как «игру, в которой не было ни капли революционности». Кажется, что столкновение цивилизаций происходило лишь в умах тех, кто верил в него.

Как же нам описать то, что произошло во Франции в ноябре? И какой урок мы можем извлечь из этих событий? Прежде всего, важно провести различие между непосредственными факторами, связанными с насилием, и косвенными факторами, которые действуют в долгосрочной перспективе. Несмотря на наличие обоих видов этих факторов, они не ведут к одним и тем же последствиям и не вызывают одну и ту же реакцию.

Кризис разразился после гибели двух подростков от удара током во время бегства от полиции (преследовали их полицейские на самом деле или нет, с этой точки зрения неважно). Затем министр внутренних дел подлил масла в огонь, заявив, что он собирается «очистить» районы от этой «швали»². Реакция тех, кто принял заявление министра на свой счет, последовала незамедлительно. Показывая свою силу и министру, и обществу в целом, они вступали в столкновения с полицией на протяжении нескольких недель, но при этом не переступали определенных границ, как в игре: ни одна их сторон не понесла жертв (хотя один человек был убит, но это произошло не в ходе столкновений). Демонстрация силы вскоре приобрела соревновательный дух: кто зажжет больше огней, подпалит автомобилей и будет сопротивляться полиции дольше и ярче? Это соревнование освещалось и подстегивалось телевизионными репортажами («Здесь сожжено 140 автомобилей. Кто сможет побить рекорд?»). Нельзя не заметить нарочито «мужественный» аспект этих действий: группы молодежи пытались получить признание и уважение у своих (но точно так же вел себя и министр). Примечательно, что девушки не принимали участия в столкновениях. Для парней, две трети которых были несовершеннолетними (от 12 до 18 лет), это был своеобразный обряд перехода к взрослой мужской жизни.

Отдельные формы насилия также заслуживают внимания. Не выдвигалось никаких политических, этнических или религиозных требований. Молодежные банды не приезжали в Париж, где жили богачи, и не нападали на здания муниципалитета или другие институциональные здания. Они почти не выходили за пределы районов, в которых они жили. Они выплескивали свое недовольство не на символы Французской Республики,

² Точный перевод слова *racaille* представляет определенную трудность. Поскольку это слово используется сегодня для обозначения специфически французской социокультурной группы, которая имеет особую манеру одеваться и вести себя, для него просто не существует эквивалента в других языках. Здесь не место раскрывать прошлое и нынешнее значение этого слова, так как это тема для отдельной статьи. Но в нашем контексте важно иметь в виду, что, хотя обозначаемая этим словом молодежь сама может называть себя *racaille* (или *caillera*, сленговый эквивалент, возникший в результате перемены мест слогов), этот термин является пейоративным и оскорбительным, когда его употребляет кто-то, не принадлежащий к этой группе, и особенно министр внутренних дел.

а на своих соседей, которые были во всем похожи на них, за исключением возраста, и на социальные структуры, созданные для их же блага. Они поджигали машины на своих улицах и своих парковках, машины, принадлежавшие их родственникам или соседям. Они пытались разрушить спортивные сооружения и другие общественные места, предназначенные для них же. Они поджигали детские сады и школы, которые посещали их младшие братья, и государственные службы занятости, которые призваны были помочь им. Все эти действия носили явно саморазрушительный характер, даже если их участники не всегда это сознавали. Когда они поджигали автобусы, которые связывали (пусть и плохо) их районы с внешним миром, от этого страдали они и их семьи, а не жители престижных районов.

Мы наблюдали такое саморазрушительное поведение не впервые, и нам известны сегодня механизмы, действующие на индивидуальном и групповом уровне. Дети, которым предлагают негативный образ их самих, в конечном итоге, принимают его и идут еще дальше: в духе «я покажу вам, что я еще „хуже“, чем вы думаете!» Они полагают, что они ничем не обязаны обществу, которое отвергло их и которое они, в свою очередь, также отвергают, радуясь его разрушению. Сто тридцать лет тому назад Достоевский описал положение таких людей словами: «Если я не могу ничего добиться, то пусть хоть весь мир рухнет!» Это нигилистические, а не религиозные слова. Идентичность, которую утверждает молодежь, не является этнической. Их кругозор ограничен их районом и единственная ценность, которую они отстаивают, — это власть над ним перед угрозой полицейских вторжений. Единственное действующее право — это право сильного; единственная имеющаяся цель — непосредственное удовлетворение нескольких простых желаний. Эта ненависть к внешнему миру и его нормам — правилам, присущим всякой организованной социальной группе, — отражает подавляемую ненависть к самим себе и состояние глубокого уныния.

Я бы хотел процитировать несколько замечаний великого французского писателя Ромена Гари о подобной вспышке насилия, которая произошла около тридцати лет тому назад в 1975 году: «подросток ощущает себя никчемным перед лицом подавляющего и всемогущего гигантизма чужого окружающего сообщества. Он ощущает себя разбитым и подавленным им. Его „я“, однажды пораженное своей никчемностью и непрерывно ставящееся под сомнение во всех отношениях, превращается в групповое „я“: группа становится индивидом и скрепляет свое единство, свой союз преступной инициативой, которая исключает возможность возврата к прошлому и служит проявлением принадлежности».

Это поведение позволяет увидеть, насколько важно для детей быть структурированными в раннем возрасте, чтобы вести по-настоящему человеческую жизнь. Вопреки тому, за что легкомысленно выступали некоторые теоретики постсовременности, номадизма, гибкости и непринадлежности, все это совсем не обязательно хорошие вещи. Семьи, сообщества происхождения и традиции могут оказывать угнетающее воздействие, но их полное отсутствие приводит к еще более негативным последствиям. Эта моло-

дежь в раннем детстве пропустила интеграцию, необходимую для построения их личности. Многие из них выросли в семьях без отцов или с отцами, которые терпели унижения и оскорбления. Поскольку их матери были либо на работе, либо сами страдали от отсутствия социальной интеграции, дети не имели никаких условий для усвоения правил жизни в обществе. И с того дня, как они пошли в школу, они ощущали себя исключенными: они испытывали сложности с языком, и у них не было возможности спокойно выполнять домашние задания. Их семьи иммигрировали во Францию, но сами они принадлежат к первому, второму или даже третьему поколению, покинувшему страну происхождения, и потому у них нет никакой другой идентичности, которой они могли бы заменить ту, с конструированием которой во Франции они испытывают такие сложности. И когда они достигают возраста, когда они могут выходить на работу, им не удастся найти тех, кто хотел бы нанять их: они не имеют никаких специальных навыков, а их поведение не считается заслуживающим доверия. Безработица в таких районах нередко достигает 50%, и им приходится приторговывать наркотиками и идти на мелкие преступления, чтобы выжить.

Также не следует недооценивать влияние образов, которые наше общество распространяет в изобилии. Дети, которые с малых лет остаются один на один с телевизором, этой нянькой для бедных, видят и поглощают сцены физического и сексуального насилия. Иностранцы, которым они подражают, — это не столько имамы из Каира, сколько рэпперы из Лос-Анджелеса. Модели, которые вдохновляют их, живут в их телевизоре, причем они потребляют так много телевизионных образов, что начинают смешивать вымысел и реальность. Во многих отношениях эта молодежь ведет себя карикатурно, но они — карикатура нашего собственного общества. Реклама постоянно призывает их покупать новые вещи, но у них нет для этого средств. На экранах показывают богатство, но сами они живут в многоэтажных зданиях для бедняков, которые находятся в районах, где нет ничего, зажатые между шоссе и железными дорогами без хороших улиц, магазинов, товаров. Все это также может иметь взрывоопасные последствия. В заметке о нашем «преследуемом» или «провоцируемом» обществе Ромен Гари утверждал, что «постоянные призывы рекламы к потреблению и отсутствие средств для этого порождают взрыв». Тогда он говорил о волнениях в афроамериканских районах в Соединенных Штатах.

Мужественная агрессивность, саморазрушительный нигилизм и озлобленность изгоев — вот непосредственные факторы, вызвавшие недавнюю вспышку насилия. Но как, в свою очередь, можно объяснить их? Здесь нам нужно отойти от событий ноября 2005 года. Чтобы как-то ответить на этот вопрос, мы можем начать со следующего наблюдения: молодежь, родители или родители родителей которой переселились из Азии (Китая, Вьетнама или Индии), справлялась со своей социальной интеграцией во Франции лучше молодежи, предки которой были выходцами из Северной или Черной Африки. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, помимо индокитайского полуострова, французские колониальные завоева-

ния разворачивались также и в Африке. Этот опыт, длившийся почти столетие, а иногда и более, оставил раны, которые пока что не зажили. Бывшие колонизированные сначала усвоили образ своей неполноценности, а затем с яростью отвергли его; бывшие колонизаторы сохранили чувство превосходства и снисходительное и презрительное отношение к колонизированным. Отсюда расистское или враждебное поведение со стороны представителей государства (то есть полицейских) и частных лиц (например, собственников или руководства предприятий). Отсюда саморазрушительные и агрессивные действия со стороны детей и внуков бывших колонизированных.

Еще одна особенность этих людей связана с отношением к семейной структуре и положению женщин в мусульманских семьях. Вопреки распространенному представлению, между исламом и подчинением женщин нет никакой необходимой связи. В первопроходческой работе о средиземноморских системах родства *Le harem et les cousins* антрополог Жермен Тийон показывает, что мы имеем дело со структурами, которые предшествуют исламу и не ограничиваются областью его географического распространения, так как они встречаются и в языческом мире Древней Греции, и в христианской культуре современных Сицилии и Корсики. Тем не менее, часть иммигрантского населения, которая практикует ислам, оказывается особенно уязвимой при столкновении с западным образом жизни. Женщины эксплуатируются во всех традициях, но мусульманских женщин зачастую дома заставляют оставаться их мужья. Молодые люди, связанные с этой традицией, склонны делить женщин на две категории: девственниц и шлюх, и цепляться за свою привилегию старших братьев, присматривающих за своими сестрами. Эта ситуация порождает новые виды фрустрации.

Поскольку корни этих проблем уходят глубоко, средства для их исправления найти не так-то просто. Наш мир больше не состоит из отдельных гомогенных обществ, живущих обособленно друг от друга. Мужчины и женщины из многих традиций покидают свою родину и селятся в чужой, даже враждебной среде, где им приходится жить рядом друг с другом и приспосабливаться друг к другу. Трения между ними неизбежны. Франция — это страна, которая не привыкла к постепенным изменениям; она чередует продолжительные консервативные периоды с радикальными переворотами. Тем не менее, мы знаем, в каком направлении нам следует двигаться для разрешения этих трудностей: необходимо сделать все, чтобы обновить социальную ткань и позволить людям, живущим в этой стране, завоевать доверие и признание мирным путем. Для этого нужно быть честными: это значит не поддаваться фантазии и не закрывать глаза на факты. Политкорректный дискурс во многом ответственен за лицемерие и невежество. Но при этом нужно постараться не бить по неверной цели, принимая за врага неуклюжую защиту изгоев и неимущих. Бегство от политкорректности может привести к соскальзыванию в политически неприемлемое. А от этого точно не будет никакого прока.

ДП: Хотя ислам, возможно, и не играл большой роли в ноябрьских волнениях во Франции, его значение проявилось наиболее ярко в глобальных

выступлениях протеста и возмущении, которые вызвали датские карикатуры. И вновь, как и в случае с французскими волнениями, мы видели множество точек зрения и дебатов по поводу этих событий. Каково, на Ваш взгляд, значение самих этих событий, а также дебатов вокруг них?

ЦТ: В этом случае мы действительно имеем дело с конфликтом, корни которого являются культурными и в котором ислам, бесспорно, играет немаловажную роль. «Карикатурное» дело подняло множество вопросов, которые необходимо рассмотреть последовательно. Мои ответы, конечно, не будут исчерпывающими.

Для начала вспомним, что же произошло на самом деле. Карикатуры на Мухаммеда были опубликованы в конце сентября 2005 года в консервативной датской газете с явным намерением показать, что в Дании не существует никаких ограничений на свободу слова. Не следует забывать о контексте: датское коалиционное правительство нуждалось в поддержке популистской датской Народной партии, придерживавшейся антииммигрантской программы, особенно направленной против иммигрантов из мусульманских стран. Лидеры мусульманского сообщества, которые почувствовали себя оскорбленными этими карикатурами, собрали 17.000 подписей и подали петицию премьер-министру, но это не возымело никакого эффекта. Тогда они обратились к послам мусульманских стран в Дании и попросили поговорить с премьер-министром от их имени, но он также отказался от встречи с ними, объяснив, что он не может вмешиваться в законы, защищающие свободу печати в Дании. Затем лидеры мусульманской общины обратились к множеству религиозных авторитетов в мусульманских странах, которые организовали или инициировали шумные демонстрации. Во время демонстраций были подожжены и разрушены флаги и здания, принадлежащие нескольким европейским странам, а авторам карикатур пригрозили смертью. Попытки полиции подавить сопротивление, в свою очередь, завершились гибелью нескольких десятков протестующих в различных странах Азии и Африки.

Первое наблюдение, которое мне бы хотелось сделать по поводу этой непредвиденной череды событий, состоит в том, что она показывает, насколько мы все сегодня живем в одном и том же пространстве – возникает даже соблазн сказать, в одной и той же деревне. Кто мог представить, что что-то опубликованное в какой-то непонятной газетенке в Копенгагене способно вызвать волнения в Нигерии! Мгновенная трансляция новостей, особенно репортажи в прямом эфире, которые влияют на непосредственное восприятие, радикально меняет наше отношение к миру и оказывает глубокое воздействие на поведение всех нас. Наши действия имеют намного более широкие последствия, чем мы себе представляем, и нам пора уже это понять.

Рассмотрим вопрос с карикатурами с датской и более широкой европейской точки зрения. Принцип свободы слова и последовательный отказ от контроля государства над тем, что печатается в газетах, служит одним из столпов либеральной демократии. Но все же не единственным. Свобода всегда ограничивается другими, не менее фундаментальными принципами. Например, в зависимости от законов в различных странах, публичное

заявление, что все евреи — банкиры, которые жиреют за счет других, что все арабы — воры или что все черные — насильники, может быть таким же нарушением закона, как и пропаганда терроризма, нацизма или насилия. В феврале 2006 года ревизионистский историк Дэвид Ирвинг был приговорен в Австрии к трем годам заключения за отрицание существования газовых камер в Освенциме. А французские епископы недавно сумели добиться запрета рекламы, которая, по их мнению, оскорбляла чувства христиан.

Такие ограничения свободы слова обоснованы, как и все ограничения свободы человека делать все, что ему заблагорассудится, ради обеспечения общественного блага и, следовательно, социальной стабильности и защиты достоинства других граждан — требование, легитимизируемое принципом равенства. Между правом действовать и деянием существует дистанция, которую нужно преодолеть, приняв во внимание возможные последствия действия в данном контексте. Когда европейцы осуждают заявление иранского президента, что Иран имеет право разрабатывать ядерную бомбу, они делают это потому, что они смотрят дальше «права» делать то, что тебе нравится, или делать то же, что делают другие, чтобы повлиять на весь мир, и беспокоятся, что разработка бомбы Ираном особенно опасна в этом отношении. Именно поэтому, как утверждали некоторые по поводу карикатур, не надо играть со спичками, когда рядом стоит бочонок с порохом, даже если не существует никакого закона, запрещающего заниматься этим.

Поступок датской газеты может выглядеть глупым (непонимание того, что карикатуры в сегодняшнем контексте могут иметь вредные последствия) или провокационным (попытка заманить мусульманское сообщество в ловушку, чтобы показать его обскурантизм и нетерпимость и тем самым закрепить его исключение из датского общества). Что касается реакции датского правительства, то она была глубоко бестактной. Не прибегая к правовым мерам (вроде запрета на богохульство, как того требовали некоторые исламисты), правительство могло воспользоваться имевшимися у него политическими возможностями. Поскольку большое число людей заявило, что они чувствуют себя оскорбленными публикацией, правительство должно было встретиться с ними, выразить должное уважение и беспокойство и объяснить им, какую юридическую форму мог принять их протест. Здесь следует провести различие между основаниями для протеста: протест против всякого изображения пророка Мухаммеда — это чисто теологическое (иконоборческое) требование, которое европейские средства массовой информации удовлетворить не могут; с другой стороны, изображение Мухаммеда с тюрбаном в форме бомбы — это выпад не против теологии, а против самих мусульман, потому что в нем содержится обвинение всех мусульман в терроризме. Такая реакция со стороны правительства, не поступающая принципами, успокоила бы межобщинные противоречия в Дании и сохранила бы много жизней в других странах.

Речь не идет о введении цензуры или отказе от свободы критики, речь идет просто о понимании того, что наши публичные действия совершаются не в каком-то абстрактном пространстве, а во вполне определенном контексте, который необходимо обязательно учитывать. Есть разница между

критикой господствующей идеологии и критикой маргинализованной, преследуемой группы: первая служит проявлением смелости, вторая — проявлением ненависти. Есть разница между смехом над собой и смехом над другими с помощью изображений или письменных текстов. И последние две категории слишком широки и, в свою очередь, должны быть подразделены: газетные заголовки имеют иной статус, чем специализированные публикации; романы имеют иной статус, чем политический дискурс, а произведения изобразительного искусства, чем телевизионные репортажи. Средства массовой информации обладают сегодня огромным влиянием и, в отличие от других форм власти, оно возникает не в результате волеизъявления народа. Законность, по словам Монтескье, требует самоограничения. Или, пользуясь терминологией Макса Вебера, недостаточно действовать от имени этики убеждения; необходима этика ответственности, которая учитывает вероятные последствия действий.

Поэтому европейские общества не вышли из этого дела с поднятой головой, а образ, который создали вокруг себя мусульманские общества, вызывает еще большую озабоченность. Такие тревожные знаки, конечно, появились еще до «карикатурного дела»: ни одна другая религия не занимается сегодня оправданием террористических нападений, убийств и преследования. Выступавшие против Дании пренебрегли несколькими различиями, которые кажутся важными европейцам: различием между религиозными принципами и гражданскими правами, между законами одной страны и законами другой, между волей правительства и волей индивидов. Угрозы убийства, озвученные во время демонстраций в Лондоне, следует считать преступлением, и удивительно, что британские власти не предприняли против них никаких юридических действий. Если западным обществам нужно было напоминание того, что их ценностями восхищаются далеко не все и что они имеют в мире немало врагов, то они его получили.

Легкость, с которой религиозным или политическим агитаторам удалось привлечь на свою сторону огромные толпы, также свидетельствует о степени фрустрации и заброшенности, в которой живет множество людей в этих странах. Это состояние неудовлетворенности вызвано, прежде всего, чудовищными экономическими условиями, массовой безработицей и недостатком образования и широкого распространения знаний. Оно усиливается чувством унижения со стороны Запада, чувством, которое становится веским мотивом для насильственных действий. Оно подпитывается, среди прочего, западной оккупацией мусульманских стран, вроде Афганистана и Ирака, несправедливым отношением к Палестине и пытками в тюрьмах Абу-Грейб и Гуантанамо. Я не говорю, что все беды мусульманских стран вызваны внешними причинами, что они импортированы с Запада и что эти страны — просто жертвы неокOLONIALИЗМА. Напротив, я считаю, что они должны винить в своей отсталости, прежде всего, собственных лидеров. Тем не менее, несправедливость, в которой можно обвинить западные страны, приобрела в мусульманских странах символический статус и позволила найти легкого козла отпущения, скрыв тем самым иные причины неблагоприятного положения.

Этот контраст между мусульманскими странами и демократическими странами заставил некоторых сделать вывод, что проблема изначально была в мусульманах, что она вызвана самой исламской религией и священной книгой ислама, Кораном. Мне сложно согласиться с эссенциализацией более чем миллиарда человек из всех слоев общества, которые, предположительно, должны поступать одинаково. Многие мусульмане, как и другие люди, хотят жить в мире; они стремятся к личному счастью, а не к джихаду и победе одной религии над другой. Религиозного детерминизма никогда не бывает достаточно, и сами доктрины признают возможность множества различных интерпретаций. На мой взгляд, нынешние противоречия в большей степени обусловлены политикой, чем религией; их источник расположен на земле, а не на небе. Это не значит, что новая война между религиями, именуемыми теперь цивилизациями, невозможна: все, что нужно, — это фанатичное влиятельное меньшинство, за которым пассивно последуют массы, то есть вы и я.

Какой урок можно извлечь из тревожного датского «карикатурного скандала»? Двойкий, имеющий внешнее и внутреннее измерение. По отношению к мусульманским странам европейские страны должны избегать впадения в благодушие и пацифизм: у нас есть враги, которые не откажутся от применения силы, чтобы заставить нас отречься от ценностей, которыми мы дорожим. Чтобы защититься, мы также должны быть готовы к применению силы. В настоящее время, когда Иран вот-вот получит ядерное оружие, это дело служит предупреждением, от которого нельзя легкомысленно отмахнуться. Но мы должны одновременно гарантировать, что наши демократические принципы не будут служить лицемерной маской, скрывающей эгоистические интересы, связанные с землей или энергоресурсами. Мы должны незамедлительно закрыть тюрьмы, в которых безнаказанно и даже законно пытаются людей; и мы должны как можно скорее положить конец нашим военным оккупациям. Если Европа сможет стать образцом свободы и справедливости для других стран, ей будет проще достигать своих целей, чем с помощью военных операций. Если мы этого не сделаем (и не похоже, чтобы американское правительство двигалось в этом направлении), мы сами серьезно усугубим свое и без того неблагоприятное положение.

И тот же двойкий подход должен применяться внутри. Никакого отказа от принципов быть не должно: теология не должна смешиваться с политикой; свобода и разнообразие средств массовой информации должны быть гарантированы, а право женщин на свободу выбора и достоинство защищено. В то же время мы не должны настраивать сообщества друг против друга, необоснованно стигматизируя их и предпочитая одни другим. Быть терпимым к другим легче, когда это подкрепляется непримиримым отношением к нетерпимому.

ДП: Согласны ли Вы с тем, что французское „нет“ конституции ЕС, как утверждали некоторые наблюдатели, связано с демонстрациями/ выступлениями, которые охватили Францию весной 2006 года? Каковы Ваши впечатления и соображения по поводу этих событий? И какова Ваша точка зре-

ния относительно французского голосования по конституции ЕС и отношений Франции с ЕС?

ЦТ: В марте-апреле 2006 года по крупным городам Франции прокатились очередные волнения, на сей раз из-за решения правительства ввести новый трудовой договор. *Contrat Première Embauche* или договор первого найма должен был облегчить работодателям увольнение работников, но он также обещал облегчить наем. После массовых демонстраций правительство отозвало законопроект. Какие выводы может сделать из этих событий кто-то, вроде меня, учитывая, что я не экономист и что я не занимаюсь поисками работы? Боюсь, что в этом вопросе от меня не следует ждать каких-то откровений.

День за днем, по мере развития событий, мое внимание все больше привлекали отдельные чрезмерные аспекты выступлений протеста. Первая причина моих сомнений была строго формальной. Я привязан к представительной демократии, и мне не нравится, когда правительство уступает «давлению улицы»; это напоминает мне о фашистских проявлениях силы в межвоенный период, которые, в конечном итоге, вызвали крах демократии. Миллион протестующих на улицах — это, конечно, впечатляет, но я еще не забыл, что за этот парламент и это правительство с его программой проголосовало еще больше людей. Правила демократической жизни требуют, чтобы мы принимали результаты выборов, даже когда они нам не нравятся. Представительная демократия сегодня подвергается непрекращающемуся давлению того, что Жак Жильяр называет «перманентной демократией» в промежутке между выборами, вроде опросов общественного мнения, которые зачастую влияют на строго политические решения.

Мое второе наблюдение касается поворота, который приняли дебаты. Уровень французской безработицы на протяжении многих лет составлял порядка 10% (до 25% среди молодежи и даже 50% в более бедных областях). Безработица — это не просто экономическое бедствие; это рак, который разъедает ткань общества. Мы должны сделать все, чтобы побороть ее, так почему бы не принять новый тип договора? Не знаю, был ли он экономически жизнеспособным решением, но мне казалось, что отвергать его в принципе, — это чересчур. К этому вопросу нужно было подойти практически: проверить его в работе, скажем, в течение года, и если бы он помог, то его можно было оставить, а если нет, то отменить. Все политические партии хотят сократить безработицу; борьба с ней не должна быть объектом фанатичной борьбы.

Кроме того, в выступлениях протеста участвовало множество студентов, другое дело — было ли это демонстрацией их политической зрелости. То, что я наблюдал вокруг себя (я живу близ Латинского квартала), больше было похоже на участие в ритуале, который с течением времени стал считаться почти обязательным: митинги, сидячие забастовки, «забастовки» студентов, демонстрации, столкновения с полицией. У меня сложилось ощущение, что в этом было больше желания сбежать с учебы, чем реальной увлеченности политической борьбой. По общему признанию, целые сектора французской университетской системы находятся в плачевном состоянии, в отли-

чие от крайне избирательных *grandes écoles*, не вызывая у студентов желания заниматься учебой.

У меня также сложилось ощущение, что реакция студентов выказывала слабое понимание экономических проблем; и, безусловно, качество преподавания экономики во французских школах оставляет желать лучшего. Критики предложенных мер, казалось, забыли, что не самый лучший договор лучше, чем никакого договора вовсе, и что прежде, чем перераспределять богатство, сначала его нужно создать. Этот недостаток реализма проявлялся и в других социальных конфликтах, словно люди не понимали, что рост продолжительности жизни, который мы переживали на протяжении полувека, требовал удлинения рабочего времени, а не сокращения его (с 35-часовой рабочей неделей или выходом на пенсию в 60 лет).

Наконец, меня не оставляло ощущение, что люди, которых мы слышали в ходе этого конфликта, были не теми, для кого были предназначены эти меры, а, скорее, представляли другие сектора общества, которых эти меры не касались. Договор первого найма призван был помочь неквалифицированной молодежи — той самой молодежи, которая участвовала в ноябрьских волнениях. Но большинство протестующих на весенних демонстрациях составляли студенты, преимущественно из среднего класса, и члены профсоюзов, действующих во Франции почти исключительно в государственном секторе, где имеются все гарантии занятости. Молодежь из бедных районов не проявляла (судя по тому, что мы слышали) последовательной враждебности предложениям правительства.

Но я не могу ограничивать свой анализ исключительно этими наблюдениями. Помимо мотивов, действительно озвученных протестующими, можно было услышать другие, более глубокие причины для беспокойства. Поднятые вопросы не были просто экономическими. Первоначальные выступления протеста были вызваны решением премьер-министра провести реформу, не посоветовавшись ни с профсоюзами, ни с парламентом. Он действовал как просвещенный деспот из XVIII века, знающий или думающий, что знает, что лучше для его подданных и навязывающий это им, не спрашивая их мнения. Таким образом, он явно считал (ожидаемые) экономические последствия главными, а социальные дебаты — бессмысленными. Сила враждебной реакции показала, что он ошибался: люди вели себя так, словно достоинство было важнее экономического эффекта. Политики сегодня слишком часто забывают, что желаемое материальное богатство может быть всего лишь средством для более полноценной, более достойной, более осмысленной жизни. Чисто экономических критериев, как мы знаем сегодня, недостаточно для оценки благосостояния населения, и они должны быть подчинены социальным критериям.

Это подводит меня к распространенной в Европе реакции против капитализма в духе свободного рынка (часто его называют «диким»). Для меня, прожившего часть своей жизни в коммунистической Болгарии при «плановой», а не «рыночной» экономике, выбор кажется четким и ясным: вы не будете долго колебаться, выбирая между бедностью и богатством. Но нельзя

довольствоваться таким наблюдением, когда ты знаешь, что человеческое благосостояние — это не вопрос темпов роста и товарооборота компании, причем оно не возникает автоматически из последних. Необходимо сохранить преимущества конкурентной экономики, смягчая ее пагубные последствия при помощи политического действия и принятия соответствующих социальных мер, нацеленных на обеспечение общего блага.

На каком уровне должна осуществляться такая политика, чтобы быть эффективной? Европейские страны недостаточно велики, чтобы изменить экономическое положение каждой отдельной страны. С другой стороны, уровень Европейского Союза — между небольшим государством и целым миром — предлагает подходящий контекст для такого действия. Проблема состоит в том, что ЕС еще не достаточно един, чтобы проводить общую политику. И голосование против конституции во Франции и Нидерландах в 2005 году не могло не повредить его единству.

Голосование против конституции во Франции произошло в результате сочетания двух крайностей: большинство сложилось в результате сложения голосов крайне правых и крайне левых. Было, мягко говоря, странно видеть невероятный союз, состоящий из троцкистского лидера, секретаря коммунистической партии, лидера националистических правых и главы крайне правых, которые стояли вместе — физически — в своей кампании против конституции. Националистические и ксенофобские представители правых, скорее всего, никогда не изменят своей позиции, если они не откажутся от своей программы. Но левые центристы не обязательно должны занимать антиевропейскую позицию. Если они и проголосовали против, то это потому, что авторы конституции захотели включить принципы, которые уже содержались в ранее подписанных соглашениях, в особенности принцип рыночной экономики. В этом смысле между голосованием против конституции и демонстрациями в марте-апреле 2006 года действительно существовала связь. И, чтобы изменить голосование, нужно отказаться от данных статей, и это не так уж сложно сделать, потому что экономическая политика не относится к категории фундаментальных прав; она зависит от обстоятельств, а о бизнесе в конституции речь не идет.

Сегодняшняя Франция кажется мне — и я здесь не одинок — страной, находящейся в глубоком застое, в которой господствуют консервативные взгляды, а политическому классу не хватает смелости и изобретательности. Но европейская структура вполне может вдохнуть в нее новую жизнь.

ДП: Почему столь желательно существование политической Европы?

ЦТ: Потому что от этого все только выиграют. Европейский Союз со своими 450 миллионами граждан может проводить экономическую политику, которую не в состоянии проводить ни одно европейское государство; он может решать проблемы энергоресурсов, общие для всех, занять общую позицию по отношению к иммиграции и создать передовые исследовательские центры, которые не может позволить себе ни одна страна. Европейским странам нужно объединиться еще и для того, чтобы более эффективно про-

тивостоять общим противникам. До сих пор перемещаться из страны в страну террористам было проще, чем следователям. Не менее важны и экологические угрозы, для которых границы ничего не значат, — радиоактивное облако из Чернобыля не захотело остановиться на Рейне, а последствия глобального потепления одинаково сильно сказываются в Италии и в Дании, — но защитой окружающей среды страны по-прежнему занимаются самостоятельно.

В мире, который сегодня интегрирован намного сильнее, чем прежде, Европа может играть роль, на исполнение которой не могла притязать ни одна из отдельных стран-членов, отстаивая свои интересы по отношению к другим мировым державам и воплощая ряд принципов, которые могут служить образцом для всех. Из-за болезненного опыта, которым была отмечена история последних нескольких веков (колониализм, тоталитаризм, мировые войны), европейцы сегодня стремятся стать «спокойной силой», готовой защитить себя, но при этом стремящейся сделать свое присутствие в остальном мире осязаемым благодаря своим ценностям, а не своим армиям. Народы Европы больше не грезят о светлом будущем, но они не могут ограничиваться решением рутинных вопросов. Еще раз подчеркну: им нужен проект, «великий проект», вроде воплощения и защиты европейских ценностей. И голосование французов и голландцев против европейской конституции не сможет этому помешать.

Если, как я утверждаю, более сильная Европа желательна, то как нам выйти из нынешнего тупика? Теоретически у нас есть три возможности: мы можем отвергнуть конституционное соглашение, предложить другое или переработать нынешний текст так, чтобы он стал приемлемым для каждого. Первое решение не работает, и хэмптон-кортская программа (по-французски называемая *l'Europe des projets*) с ее смещением внимания с конституции на ряд конкретных проектов не сможет доказать обратного. Оно не работает по психологическим причинам (это отбросит нас назад, что недопустимо), но также и по техническим. ЕС парализован существующими соглашениями, которые не подходят для расширенного союза двадцати пяти стран-членов. Проект конституционного соглашения рассматривал эту проблему во многих статьях о голосовании квалифицированным большинством, расширенном сотрудничестве и большей стабильности для председателя совета. Разработка нового проекта — столь же непрактичное решение. Не потому, что существующий текст идеален (это не так), а потому, что шестнадцать стран уже проголосовали за него, и ничто не сможет оправдать проведение повторного голосования. К тому же, все знают, что этот текст был создан в результате компромисса, и что вряд ли другому проекту вдруг удастся завоевать единодушную поддержку. Да, это несовершенный, но совершенствуемый текст, который позволит нам сразу же сделать большой шаг вперед.

Поэтому остается только одно решение: исправить текст. Начать нужно с того, что на голосование не должно быть выставлено что-то, чего не было бы уже в первоначальном проекте. Иначе говоря, девяти странам, которые не ратифицировали соглашение, нужно предоставить возможность принятия сокращенной версии, ограниченной частями I (институты), II

(фундаментальные права), IV (общие условия) и не включающей часть III (политика и функционирование) и приложения. Это сокращение, которое укоротит текст со 183 до 23 страниц, оправдано не только потому, что недовольство французов и голландцев, по сути, было вызвано третьей частью, но еще и потому, что последнее больше связано с политическими предпочтениями, которые меняются с изменением большинства, чем с правовыми рамками, которые должны оставаться стабильными на протяжении долгого времени. Этот сжатый текст можно будет назвать как-то иначе — что-то вроде «фундаментального соглашения», — и каждая страна, желающая остаться в составе Европейского Союза, обязана будет принять его. Поэтому и потому, что это решение касается политического будущего каждой из стран, оно должно быть принято теми, кто отвечает за политическую судьбу страны, а именно — ее парламентом или двумя его палатами.

Для осуществления этого решения понадобится, чтобы следующий Европейский совет принял его, отложив при этом крайний срок ратификации до 1 ноября 2007 года, предоставив выбор наиболее подходящего момента для голосования каждому правительству. Незамедлительные действия, а не откладывание решения этого вопроса на неопределенный срок, позволят извлечь выгоду из благоприятной проевропейской атмосферы в нескольких странах. Нам также нужно использовать в своих интересах тот факт, что сейчас у власти находятся такие верные сторонники объединения Европы, как Хосе Луис Родригес Сапатеро в Испании, Ангела Меркель в Германии и Романо Проди в Италии. Прибавьте к этим трем странам Францию, и вот у вас уже есть более половины населения Европы³.

Любопытно отметить, что одни из этих правительств являются левоцентристскими, другие — правоцентристскими, так что, когда дело касается строительства Европы, раскол проходит не между левыми и правыми, а между проевропейскими центристами и антиевропейскими экстремистами (как показывает пример Франции с невероятной коалицией между левыми и правыми экстремистами, которые выступили единым фронтом против проекта конституции).

Как только эта ратификация будет достигнута, ЕС сможет возобновить движение, используя, в частности, положения относительно расширенного сотрудничества. В Европе с 25 или 27 странами-членами двигаться вперед можно только так. Европейский Союз будет иметь не жесткое ядро из одних и тех же стран, а многоцелевую работу («*L'Europe à géométrie variable*») в отдельных секторах, в которых расширенное сотрудничество представляется полезным. Именно так, кстати, все и есть: шенгенская зона включает 14 стран, еврозона — 12, еврокорпус — 6 стран напрямую и еще 5 косвенно, но они всегда разные. Та же модель может быть применена и к другим соглашениям, например, о социальной защите, юридическом сотрудничестве или финансовой координации.

3 Июль 2007 года: описанный здесь курс был принят на последнем европейском саммите в июне 2007 года.

Франция особенно заинтересована в создании сильной политической Европы. Европейский Союз—это единственная возможность обрести голос, который будет услышан на глобальной сцене. Франция может быть сильной в Европе, Европа будет сильной в мире. Но для этого другие европейцы должны будут видеть, что Франция печется об общем благе, а не о своих собственных интересах. Франция может дать понять об этом яркими жестами, вроде согласия на перевод Европейского парламента в Брюссель из Страсбурга, пребывание его в котором лишь увеличивает бремя расходов для бюджета ЕС, ничего не прибавляя к величию Франции. Она смогла бы получить со стороны ЕС большую поддержку своих позиций, которые она отстаивает в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН; она смогла бы использовать имеющиеся у нее в распоряжении военные средства для сохранения целостности европейской территории, не рассуждая о защите неопределенных «стран-союзников» (как выразился Жак Ширак в своем выступлении по вопросам обороны 19 января 2006 года).

Укрепление европейской идентичности, вопреки опасениям некоторых, не представляет угрозы для национальных идентичностей. Европа не нация и никогда ею не станет. Эти две идентичности не являются несовместимыми. В конце концов, у каждого из нас имеется несколько различных привязанностей, независимо от того, знаем мы об этом или нет. Прежде всего, у нас есть культурная идентичность в широком смысле слова, которую мы пассивно приобретаем в детстве. Она включает наш родной язык и связанное с ним мировоззрение, религию (или ее отсутствие), воспоминания о ландшафтах, кулинарные и физические привычки, а также элементы культуры в более узком понимании, вроде книг, картин и мелодий. Кроме того, у всех нас есть национальная и гражданская идентичность, поддерживаемая солидарностью, а не общими чувствами; эта идентичность основывается на нашей экономической и социальной взаимозависимости, проявляющейся в государственном бюджете и налогах, а также, среди прочего, в пенсионной системе, системе здравоохранения, образования и транспорта. Еще у всех нас есть идентичность, основанная на наших моральных и политических предпочтениях, поскольку мы поддерживаем некие универсальные принципы, включая демократическую систему, правовые нормы и права человека.

И к этому набору коллективных идентичностей прибавляется европейская идентичность. Она возникает из признания бесспорного множества наций в одной сущности—Европе. Она состоит в превращении отсутствия единства в единство на более высоком уровне, в превращении различия в идентичность. Мы можем достичь этого благодаря активному стремлению к сосуществованию, сравнению и взаимодействию с теми, кто не всегда мыслит и чувствует так, как мы; практике терпимости и неприятия соблазна творить добро силой; поддержке подражания и в то же самое время критического духа; и привыканию к тому, чтобы, по выражению Канта, «мыслить с точки зрения всех остальных».

ДП: Главная тема вашей книги «Новый мировой беспорядок» — раскол между Европой и Америкой. Об этом было сказано уже немало после начала войны в Ираке в 2003 году. Многие наблюдатели видят в этом важное геополитическое событие. Кое-кто даже наделяет его всемирно-историческим значением. Перри Андерсон, среди прочих, высказал несколько иную точку зрения:

Европейское неприятие войны [в Ираке] было широким, но не глубоким. Подготовка к вторжению вызвала широкое неприятие, но когда оно все же произошло, за этим ничего не последовало. Выступления против оккупации были немногочисленными и сильно отличались от глобальной волны протеста, вызванной войной во Вьетнаме. По опросам, британское правительство, принявшее участие в американском нападении, никак не пострадало от этого. Правительство Германии, выступившее против вторжения, вскоре начало закулисное сотрудничество, предоставляя информацию о целях в Багдаде и взаимодействуя с ЦРУ. Французское правительство, которое безуспешно пыталось переиграть Соединенные Штаты в Совете Безопасности, по сути, побудило Белый дом действовать без новой резолюции и тесно сотрудничало с Вашингтоном при установлении подходящих режимов на Гаити и в Ливане. Все имеют единую позицию по Ирану. Враждебное отношение Европы к нынешнему президенту Соединенных Штатов обусловлено скорее уязвленным самолюбием, чем подлинным недовольством. Возмущение вызывало явное пренебрежение дипломатическими тонкостями и предпочтением, отдававшееся не приемлемым порокам, а мнимым добродетелям. Элиты и массы, традиционно сложно обставлявшие свое согласие с американцами, обиделись на правительство, которое перестало с ними считаться. Это недовольство, скорее, вопрос стиля, чем сути, и оно пройдет с возвращением к внешним приличиям. Клинтонская реставрация, несомненно, привела бы к скорому и восторженному воссоединению Старого Света с Новым⁴.

Что вы думаете об этом? Насколько последовательным, на ваш взгляд, является атлантический раскол (или, как сказал бы Андерсон, его отсутствие) с практической, геополитической, а также более широкой геоисторической точки зрения? И еще одна цитата, которую я хотел бы привести вместе с цитатой из Андерсона, принадлежит индийскому историку Винаю Лалу:

С точки зрения тех, кто принадлежит к бывшим колонизированным странам глобального Юга, между европейцами и американцами нет никакой разницы⁵.

Она никак не влияет на суть моего вопроса. Она просто дополняет картину, прибавляя постколониальную составляющую к марксистской, которая

4 Андерсон П. Все там же. О Фрэнсисе Фукуяме и его «Америке на распутье» // Прогнозис. 2006. № 2 (6).

5 Vinay Lal, «The Beginning of a History», www.opendemocracy.net/democracy-fukuyama/beginning_3585.jsp

содержится в рассуждениях Андерсона. Именно в этом марксистский и постколониальный подходы сходятся: в ощущении, что Европа и Америка одним миром мазаны, что разговоры о расколе между ними лишены всякого смысла и только отвлекают внимание от основополагающей гармонии имперско-капиталистической миросистемы. На этом интеллектуальном фоне и возник мой вопрос.

ЦТ: Если смотреть на Землю с Марса, вряд ли удастся увидеть какие-то различия между американцами и европейцами (а также между азиатами и африканцами): все они — земляне! Очевидно, в Индии есть люди, которые рассматривают Запад (или мне следует говорить «глобальный Север»?) как монолитный блок. Должен признаться, такие обобщения не кажутся мне убедительными или полезными. Раньше я считал, что колонизированные страны должны быть чувствительными к различиям; например, старые колониаторские страны, вроде Великобритании и Франции, страдают от угрызений совести, которых нет у Соединенных Штатов, которые сами в прошлом были колонией. Я также не уверен, что бывшие колонизированные страны («глобальный Юг») образуют единый блок. Неужели нет никаких различий между Южной Кореей и Анголой или между Индией и Кенией?

Если расширить основание для сравнений, Соединенные Штаты и Европейский Союз имеют множество общих интересов и ценностей, и этого нельзя не замечать. Более того, к ним иногда присоединяются и другие страны, вроде Японии, стран Латинской Америки или России. Все эти страны заинтересованы в предупреждении негосударственных актов терроризма. Распространение ядерного оружия представляет реальную опасность для человечества; чем меньше государств имеют бомбу, тем лучше для всех нас. Мир и независимость в Ливане, бесспорно, предпочтительнее гражданской войны и оккупации иностранной армией.

Но схожие реакции, вроде этих или других, не могут скрыть существование значительных различий. Если ограничиваться вопросами внешней политики, все эти страны всеми силами стремятся отстаивать собственные интересы (а не только принципы справедливости и демократические ценности, как иногда они утверждают), но только Соединенные Штаты систематически проводят имперскую политику. Под этим я имею в виду, что они ставят свои интересы на первое место и считают легитимным использование силы для их защиты. Европейцы занимали такое положение в XIX—начале XX века, но с тех пор они лишились его (безоговорочная поддержка Соединенных Штатов со стороны Британии — признак покорности, а не господства). Объяснение европейской позиции следует искать не в большей приверженности добродетели, сколько в активном присутствии в Европе прошлого и его последствий, а также во внимании к вопросам эффективности; европейцы были уверены, что оккупация Ирака только усилит терроризм, а не ослабит его (и они были правы).

Безусловно, означающее «Европа» также скрывает различия между, во-первых, народами и их правительствами и, во-вторых, между различными правительствами. Хотя подавляющее большинство европейцев было

против войны, некоторые правительства — особенно в Испании, Италии, Британии и Польше — поддержали американское вмешательство. В демократических странах — там, где государственные чиновники периодически переизбираются, этот раскол служит источником опасности; и мы видели, что выступающие за войну правительства проиграли следующие выборы тем, кто выступал против войны; так обстояло дело в Италии и Испании. В Британии Тони Блэр ушел в отставку под давлением собственной партии; главным аргументом его критиков была его слепая преданность американской внешней политике. Польша — совсем другое дело; лояльность Америке позволяет полякам застраховаться от любых возможных попыток вмешательства со стороны большого российского соседа, так как память о прошлых вторжениях по-прежнему жива. Но сами поляки были настроены против войны точно так же, как итальянцы и испанцы. Возможно, французы не организовали массовых антивоенных демонстраций, потому что их позиция совпала с позицией их правительства, и они сомневались во влиянии массовых протестов на власти.

В этом контексте европейцы упрекают американцев за то, что они, судя по всему, считают грубую военную силу единственным средством достижения целей. Возьмем, к примеру, терроризм. Борьба с терроризмом — это легитимная цель. На мой взгляд, бомбардировки баз аль-Каиды в Афганистане — это акт легитимной защиты для Соединенных Штатов. Но вторжение Соединенных Штатов в Ирак под предлогом борьбы с терроризмом было возмутительным, и мне непонятно, почему большинство американцев этого не осознает. Во-первых, сознательная ложь стала вполне рядовой вещью, как это бывает в тоталитарных государствах; и, во-вторых, администрация получила совсем не то, к чему стремилась. Американская политика после 11 сентября иллюстрирует опасность представления, что позиция жертвы в прошлом (в данном случае, мишени террористических нападений) позволяет пренебрегать правилами, нормами и принципами справедливости. Точно так же, как Освенцим в Израиле служит для оправдания действий, предпринимаемых против его арабских соседей, так и 11 сентября используется Соединенными Штатами для того, чтобы оправдать нарушение международных соглашений и легитимизировать пытки в тюрьме Абу-Грейб и на базе Гуантанамо. Подобная реакция представляет большую опасность; и нельзя забывать, что унижение может создать почву для большого насилия. Это одинаково справедливо для больших и малых стран.

Европейцы не ждут уступок; в конце концов, они были жертвами террористических нападений чаще, чем американцы; вспомним недавние теракты в Мадриде и Лондоне и раньше — в Париже и Берлине. Но они считают, что бомбардировки в Афганистане должны быть исключением, а не правилом; правительство редко официально защищает террористов так, как это делало кабульское правительство. Дальнейшая работа должна быть делом спецслужб — внедрение, прослушка, наружное наблюдение и замораживание активов, — и вряд ли это стоит называть войной. Но симптомы имеют причины, которые психологически легитимируют их, — долгосрочная оккупа-

ция Палестины и недавняя оккупация других мусульманских стран, Ирака и Афганистана — и с ними тоже очень важно работать.

К терроризму нужно подходить со всей серьезностью, и не только потому, что насильственные действия действительно представляют опасность в мире, где технологический прогресс сделал их такими легкими. Нам так же, если не больше, нужно беспокоиться об опасных последствиях для нашего собственного мышления. Мы начинаем рассматривать мир только с точки зрения добра и зла, друзей и врагов и видеть в каждом мусульманине угрозу. Опасность существует, но она не оправдывает всего и вся. Не нужно действовать, подобно фашистам, которые между двумя мировыми войнами завладели умами людей при помощи пугала большевистской угрозы, или подобно сенатору Маккарти, который действовал точно так же в 1950-х (даже если советские шпионы действительно существовали). И, поскольку эти риски реальны, нам необходимо проявить проницательность и не поддаваться панике. Это долг интеллектуалов и ученых, стремящихся подойти к истине как можно ближе: если ты будешь кричать «пожар» при виде зажженной сигареты, настоящий пожар это потушить не поможет.

Война в Ливане летом 2006 года вновь показала различие в подходах между европейцами (за вычетом Британии) и Соединенными Штатами. Последние безоговорочно поддержали израильское вмешательство, которое было очередной попыткой разрешения политической проблемы грубой силой, в данном случае, бомбардировками. Как мы знаем, это вторжение не увенчалось успехом. Израиль вправе требовать, чтобы его поселения не подвергались нападениям, а его граждане не похищались. Но разве нет других целей для достижения этой цели? Не полезнее ли положить конец оккупации чужих земель, военным вмешательствам и лагерям для пленных? С другой стороны, Европейский Союз последовательно требовал прекращения бомбардировок. После заключения перемирия он отправил в регион миротворческие силы. Судя по всему, его представители считают, что политический конфликт невозможно разрешить, постоянно используя силу оружия.

Расширение или сужение атлантического раскола будет зависеть от американской внешней политики в будущем, а также от создания более единой политической Европы. Европейскому Союзу нужно приобрести военную автономию, а Соединенные Штаты должны быть готовы учитывать интересы других стран. Я бы предпочел жить во множественном, а не в едином мире; и я полагаю, что это не только вопрос личных предпочтений, а общий интерес. Власть приобретает подлинную легитимность не за счет своего происхождения, а за счет того, как она осуществляется, и это требует самоограничения.

Перевод с английского Артема Смирнова